

Максим Горький

ПО РУСИ

УДК 821.161.1
ББК 83.3(2Рос=Рус)
Г71

Горький, М.

Г71 По Руси / М. Горький. – М. : Т8RUGRAM, 2017. – 338 с.

ISBN 978-5-521-78666-4

Максим Горький (1868–1936) – основоположник социалистического реализма, принадлежащий к числу писателей, определивших образ русской литературы XX века. В прозе, драматургии и мемуарах Горький мастерски отразил социальные типы, общественные отношения, историю, быт и культуру России первой трети XX века.

Книга «По Руси» представляет собой цикл рассказов, первоначально напечатанных Горьким в различных периодических изданиях и сборниках, с сохранением авторского расположения произведений внутри цикла.

Разнообразие и размах социальных категорий, индивидуальных характеров, быта и географии блестяще объединены автором и создают полное представление целостной картины происходящих событий.

УДК 821.161.1
ББК 83.3(2Рос=Рус)
BIC FC
BISAC FIC004000

ISBN 978-5-521-78666-4

© Т8RUGRAM, оформление, 2017

Содержание

Рождение человека.....	5
Ледоход	14
Губин.....	33
Кладбище	51
На пароходе	63
Женщина	80
В ущелье.....	104
Калинин.....	128
Едут.....	148
Покойник	151
Ералаш	164
Вечер у Шамова.....	175
Вечер у Панашкина	185
Вечер у Сухомяткина	194
Светло-серое с голубым	205
Книга	209
Как сложили песню.....	218
Птичий грех.....	222
Гривенник.....	227
Герой	232
Клоун.....	237
Зрители	242
Тимка	252
Легкий человек.....	267
«Страсти-мордасти»	280
На Чангуле	294
Счастье.....	307
Нилушка.....	310
Весельчак	329

Рождение человека¹

Это было в 92-м, голодном году, между Сухумом и Очемчирами, на берегу реки Кодор, недалеко от моря — сквозь веселый шум светлых вод горной речки ясно слышен глухой плеск морских волн.

Осень. В белой пене Кодера кружились, мелькали желтые листья лавровишни, точно маленькие, проворные лососи, я сидел на камнях над рекою и думал, что, наверное, чайки и бакланы тоже принимают листья за рыбу и — обманываются, вот почему они так обиженно кричат, там, направо, за деревьями, где плещет море.

Каштаны надо мною убраны золотом, у ног моих — много листьев, похожих на отсеченные ладони чьих-то рук. Ветви граба на том берегу уже голые и висят в воздухе разорванной сетью; в ней, точно пойманный, прыгает желто-красный горный дятел-расудук, стучит черным носом по коре

1 РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Рассказ

Впервые напечатано в журнале «Заветы», 1912, номер 1, апрель, с подзаголовком «Из воспоминаний проходящего». Одновременно вышло отдельным изданием (*вместе с рассказом «Случай из жизни Макара»*) в издательстве И. П. Ладыжникова, Берлин (без обозначения года издания).

В основу рассказа положен эпизод из жизни М. Горького: в конце лета 1892 года М. Горький работал на Кавказе, на постройке шоссе Сухум — Новороссийск; здесь на одной из пустынных дорог он встретил женщину, у которой начались роды, и принял у неё ребёнка.

Автобиографичность рассказа подтверждена М. Горьким в письме к И. А. Груздеву. «В дополнение к письму из Ейска, — писал М. Горький, — посылаю ещё письмо какого-то Бурбы, который тоже рассказывает о «Рождении человека». Но этот Бурба, очевидно, был на Сухумском шоссе, и рассказ о моём «акушерстве» слышал там» (*архив А. М. Горького*).

В переписке М. Горького есть указания на то, что замысел рассказа относится к маю 1910 года.

В апреле 1912 года рассказ «Рождение человека» был прочитан М. Горьким в Париже, на митинге, посвящённом ленским событиям.

ствола, выгоняя насекомых, а ловкие синицы и сизые поползни — гости с далекого севера — клюют их.

Слева от меня по вершинам гор тяжело нависли, угрожая дождем, дымные облака, от них ползут тени по зеленым скатам, где растет мертвое дерево самшит, а в дуплах старых буков и ляп можно найти «пьяный мед», который, в древности, едва не погубил солдат Помпея Великого пьяной сладостью своей, свалив с ног целый легион железных римлян; пчелы делают его из цветов лавра и азалии, а «проходящие» люди выбирают из дупла и едят, намазав на лаваш — тонкую лепешку из пшеничной муки.

Этим я и занимался, сидя в камнях под каштанами, сильно искусанный сердитой пчелой, макал куски хлеба в котелок, полный меда, и ел, любуясь ленивой игрою усталого солнца осени.

Осенью на Кавказе — точно в богатом соборе, который построили великие мудрецы — они же всегда и великие грешники, — построили, чтобы скрыть от зорких глаз совести свое прошлое, необъятный храм из золота, бирюзы, изумрудов, развесили по горам лучшие ковры, шитые шелками у туркмен, в Самарканде, в Шемахе, ограбили весь мир и все — снесли сюда, на глаза солнца, как бы желая сказать ему:

— Твое — от Твоих — Тебе.

...Я вижу, как длиннобородые седые великаны, с огромными глазами веселых детей, спускаясь с гор, украшают землю, всюду щедро сея разноцветные сокровища, покрывают горные вершины толстыми пластами серебра, а уступы их — живою тканью многообразных деревьев, и — безумно-красивым становится под их руками этот кусок благодатной земли.

Превосходная должность — быть на земле человеком, сколько видишь чудесного, как мучительно сладко волнуется сердце в тихом восхищении пред красою!

Ну да — порою бывает трудно, вся грудь нальется жгучей ненавистью и тоска жадно сосет кровь сердца, но это — не навсегда дано, да ведь и солнцу, часто, очень грустно смотреть на людей: так много потрудились они для них, а — не удались людишки...

Разумеется, есть немало и хороших, но — их надобно починить или — лучше — переделать заново.

...Над кустами, влево от меня, качаются темные головы: в шуме волн моря и ропоте реки чуть слышно звучат человеческие голоса — это «голодающие» идут на работу в Очемчиры из Сухума, где они строили шоссе.

Я знаю их — орловские, вместе работал с ними и вместе рассчитался вчера; ушел я раньше их, в ночь, чтобы встретить восход солнца на берегу моря.

Четверо мужиков и скуластая баба, молодая, беременная, с огромным вздутым к носу животом, испуганно вытаращенными глазами синевато-серого цвета. Я вижу над кустами ее голову в желтом платке, она качается, точно

цветущий подсолнечник под ветром. В Сухуме у нее помер муж — объелся фруктами. Я жил в бараке среди этих людей: по доброй русской привычке они толковали о своих несчастьях так много и громко, что, вероятно, их жалобные речи было слышно верст на пять вокруг.

Это — скучные люди, раздавленные своим горем, оно сорвало их с родной, усталой, неродимой земли и, как ветер сухие листья осени, занесло сюда, где роскошь незнакомой природы — изумив — ослепила, а тяжкие условия труда окончательно пришибли этих людей. Они смотрели на все здесь, растерянно мигая выцветшими, грустными глазами, жалко улыбаясь друг другу, тихо говоря:

— А-яй... экая землища...

— Прямо — прет из нее.

— Н-да-а... а однако — камень ведь...

— Неудобная земля, надобно сказать...

И вспоминали о Кобыльем ложке. Сухом гоня. Мокренком — о родных местах, где каждая горсть земли была прахом их дедов и все памятно, знакомо, дорого — орошено их потом.

Была там с ними еще одна баба — высокая, прямая, плоская, как доска, с лошадиными челюстями и тусклым взглядом черных, точно угли, косых глаз.

Вечерами она, вместе с этой — в желтом платке, — уходила за барак и, сидя там на груде щебня, положив щеку на ладонь, склоня голову вбок, пела высоким и сердитым голосом:

За погостом...
во зелены-их куста-ах —
На песочку...
расстелю я белый плат...
Не дождусь ли...
дружка милого мово...
Придет милый...
поклонюся яй ему...

Желтая обычно молчала, согнув шею и разглядывая свой живот, но иногда вдруг, неожиданно, лениво и густо, мужицким сиповатым голосом вступала в песню рыдающими словами:

Ой да милый...
ой, миленок дорогой...
Не судьба мне...
боле видеться с табой...

В черной душной темноте южной ночи эти плачевные голоса напоминали север, снежные пустыни, визг метели и отдаленный вой волков...

Потом косоглазая баба заболела лихорадкой и ее снесли в город на носилках из брезента — она тряслась в них и мычала, словно продолжая петь свою песню о погосте и песочке.

...Нырять в воздухе, желтая голова исчезла.

Я кончил свой завтрак, закрыл листьями мед в котелке, завязал котомку и, не спеша, двинулся вослед ушедшим, постукивая кизиловой палкой о твердый грунт тропы.

Вот и я на узкой, серой полосе дороги, справа — качается густо-синее море; точно невидимые столяры строгают его тысячами фуганков — белая стружка, шурша, бежит на берег, гонимая ветром, влажным, теплым и пахучим, как дыхание здоровой женщины. Турецкая фелюга, накреньясь на левый борт, скользит к Сухуму, надув паруса, как важный сухумский инженер надувал свои толстые щеки — серьезнейший человек. Почему-то он говорил вместо тише — «чише» и «хыть» вместо хоть.

— Чише! Хыть ты и боек, но я тебя моментально в полицию...

Любил он отправлять людей в полицию, и хорошо думать, что теперь его, наверное, уже давно, до костей обглодали червяки могилы.

...Идти — легко, точно плывешь в воздухе. Приятные думы, пестро одетые воспоминания ведут в памяти тихий хоровод; этот хоровод в душе — как белые гребни волн на море, они сверху, а там, в глубине — спокойно, там тихо плавают светлые и гибкие надежды юности, как серебряные рыбы в морской глубине.

Дорогу тянет к морю, она, извиваясь, подползает ближе к песчаной полосе, куда вбегают волны, — кустам тоже хочется заглянуть в лицо волны, они наклоняются через ленту дороги, точно кивая синему простору водной пустыни.

Ветер подул с гор — будет дождь.

...Тихий стон в кустах — человеческий стон, всегда родственно встряхивающий душу.

Раздвинув кусты, вижу — опираясь спиной о ствол ореха, сидит эта баба, в желтом платке, голова опущена на плечо, рот безобразно растянут, глаза выкатились и безумны; она держит руки на огромном животе и так неестественно страшно дышит, что весь живот судорожно прыгает, а баба, придерживая его руками, глухо мычит, обнажив желтые волчьи зубы.

— Что — ударили? — спросил я, наклоняясь к ней, — она сучит, как муха, голыми ногами в пепельной пыли и, болтая тяжелой головой, хрипит:

— Уди-и... бесстыжий... ух-ходи...

Я понял, в чем дело, — это я уже видел однажды, — конечно, испугался, отпрыгнул, а баба громко, протяжно завывала, из глаз ее, готовых лопнуть, брызнули мутные слезы и потекли по багровому, натужно надутому лицу.

Это воротило меня к ней, я сбросил на землю котомку, чайник, котелок, опрокинул ее спиною на землю и хотел согнуть ей ноги в коленях — она оттолкнула меня, ударив руками в лицо и грудь, повернулась и, точно медведица, рыча, хрипя, пошла на четвереньках дальше в кусты:

— Разбойник... дьявол...

Подломились руки, она упала, ткнулась лицом в землю и снова завывала, судорожно вытягивая ноги.

В горячке возбуждения, быстро вспомнив все, что знал по этому делу, я перевернул ее на спину, согнул ноги — у нее уже вышел околоплодный пузырь.

— Лежи, сейчас родишь...

Сбегал к морю, засучил рукава, вымыл руки, вернулся и — стал акушером.

Баба извивалась, как береста на огне, шлепала руками по земле вокруг себя и, вырывая блеклую траву, все хотела запихать ее в рот себе, осыпала землю страшное, нечеловеческое лицо, с одичалыми, налитыми кровью глазами, а уж пузырь прорвался и прорезывалась головка, — я должен был сдерживать судороги ее ног, помогать ребенку и следить, чтобы она не совала траву в свой перекошенный, мычащий рот...

Мы немножко ругали друг друга, она — сквозь зубы, я — тоже не громко, она — от боли и, должно быть, от стыда, я — от смущения и мучительной жалости к ней...

— Х-хосподи, — хрипит она, синие губы закусены и в пене, а из глаз, словно вдруг выцветших на солнце, все льются эти обильные слезы невыносимого страдания матери, и все тело ее ломается, разделяемое надвое.

— Ух-ходи ты, бес...

Слабыми, вывихнутыми руками она все отталкивает меня, я убедительно говорю:

— Дуреха, роди, знай, скорее...

Мучительно жалко ее, и кажется, что ее слезы брызнули в мои глаза, сердце сжато тоской, хочется кричать, и я кричу:

— Ну, скорей!

И вот — на руках у меня человек — красный. Хоть и сквозь слезы, но я вижу — он весь красный и уже недоволен миром, барахтается, буянит и густо орет, хотя еще связан с матерью. Глаза у него голубые, нос смешно раздавлен на красном, смятом лице, губы шевелятся и тянут:

— Я-а... я-а...

Такой скользкий — того и гляди, уплывет из рук моих, я стою на коленях, смотрю на него, хохочу-очень рад видеть его! И — забыл, что надобно делать...

— Режь... — тихо шепчет мать, — глаза у нее закрыты, лицо опало, оно землистое, как у мертвой, а синие губы едва шевелятся:

— Ножиком... перережь...

Нож у меня украли в бараке — я перекусываю пуповину, ребенок орет орловским басом, а мать — улыбается: я вижу, как удивительно расцветают, горят ее бездонные глаза синим огнем — темная рука шарит по юбке, ища карман, и окровавленные, искусанные губы шелестят:

— Н-не... силушки... тесемочка кармани... перевязать пупочек...

Достал тесемку, перевязал, она — улыбается все ярче; так хорошо и ярко, что я почти слепну от этой улыбки.

— Оправляйся, а я пойду, вымою его... Она беспокойно бормочет:

— Мотри — тихонечко... мотри же... Этот красный человечик вовсе не требует осторожности: он сжал кулак и орет, орет, словно вызывая на драку с ним:

— Я-а... я-а...

— Ты, ты! Утверждайся, брат, крепче, а то ближние немедленно голову оторвут...

Особенно серьезно и громко крикнул он, когда его впервые обдало пенной волной моря, весело хлестнувшей обоих нас; потом, когда я стал наплеывать грудь и спинку ему, он зажмурил глаза, забился и завизжал пронзительно, а волны, одна за другою, все обливали его.

— Шуми, орловский! Кричи во весь дух...

Когда мы с ним воротились к матери, она лежала, снова закрыв глаза, кусая губы, в схватках, извергавших послед, но, несмотря на это, сквозь стоны и вздохи, я слышал ее умирающий шепот:

— Дай... дай его...

— Подождет.

— Дай-ко...

И дрожащими, неверными руками расстегивала кофту на груди. Я помог ей освободить грудь, заготовленную природой на двадцать человек детей, приложил к теплomu ее телу буйного орловца, он сразу все понял и замолчал.

— Пресвятая, пречистая, — вздрагивая, вздыхала мать и перекатывала растрепанную голову по котомке с боку на бок.

И вдруг, тихо крикнув, умолкла, потом снова открылись эти донельзя прекрасные глаза — святые глаза родительницы, синие, они смотрят в синее небо, в них горит и тает благодарная, радостная улыбка; подняв тяжелую руку, мать медленно крестит себя и ребенка...

— Слава те, пречистая мать божия... ох... слава тебе... Глаза угасли, провалились, она долго молчит, едва дыша, и вдруг деловито, отвердевшим голосом сказала:

— Развяжи, паренек, котомку мою...

Развязали, она взглянула на меня пристально, слабенько усмехнулась, как будто — чуть заметно — румянец блеснул на опавших щеках и потном лбу.

— Отойди-ка...